

Михаил Садовский
Четыре дня

Сборник рассказов



Михаил Садовский

Четыре дня. Сборник рассказов

«Издательские решения»

Садовский М.

Четыре дня. Сборник рассказов / М. Садовский — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-748614-3

В сборник рассказов «Четыре дня» вошли произведения, охватывающие события с 30-х годов прошлого века по настоящее время. Автор считает, что описанию событий и эмоций в нашем мире высоких скоростей более всего соответствует короткий рассказ в пять-десять страниц. «Четыре дня» — первая книга рассказов известного автора — поэта, прозаика и драматурга. Все произведения, вошедшие в книгу, не однажды публиковались в периодике разных стран мира.

ISBN 978-5-44-748614-3

© Садовский М.
© Издательские решения

Содержание

Спи, малыш	6
Митенька	9
Третья попытка	13
«Циркуль»	16
Жаворонок	19
Людмила Дорофеевна	23
Любовь никуда не уходит!	27
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Четыре дня
Сборник рассказов
Михаил Садовский

© Михаил Садовский, 2016

Редактор Лара Садовская

Корректор Анна Долгова

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Спи, малыш

«Спи, Малыш, спи»... Эта вечная луна тихонько положила на пол квадрат окна, часть его оказалась на кровати и согнулась вместе со свисающим одеялом. Он сидел рядом на стуле уже который час, наклонившись вперёд и положив руку на маленькое горячее тельце ровно между лопаток. Вторая рука его свисала с распушенной ладонью и полусогнутыми пальцами.

«Вся усталость и боль стекают вниз, вниз по этим пальцам», – мысленно повторял он, как учили мудрецы ушу. И в полудрёме усталости ему представлялось, что он насос и рука, лежащая на этом тельце, втягивает всю болезнь в себя, а потом жар и боль стекают на пол по другой, опущенной, руке, перемешиваются с лунным светом, растворяются в нём и исчезают.

Пространство становилось бесконечным, глаза закрывались, и ему казалось, что это уже он сам много, необозримо много лет назад лежит с раздутой от свинки перевязанной щекой на старом топчане в угловой комнатке у добрых знакомых в доме, один – с самого дорассветного утра и до позднего вечера. Непереносимо хочется есть, но он знает, что кроме двух кусков чёрного клёклого хлеба ничего нет в тумбочке на кухне и что, если взять в рот кусочек и попробовать жевать, побежит обильная слюна и так заломит в скуле под большим ухом, что нужно будет обязательно выдохнуть какой-нибудь звук, чтобы с ним вместе утекло немножко боли, а потом придётся судорожно глотать воздух, чтобы не задохнуться от его нехватки. И от этого движения в горле станет опять невыносимо больно – так, будто голова треснула и в эту щель всаживается боль, похожая на проволочную сетку, которой моют почерневшие на керосинке кастрюли.

Поэтому он лежит тихо и постанывает изредка от жалости к самому себе и оттого, что время болезни неудачно, потому что на дворе весна, и скоро день рождения, и ручьи такие замечательные бегут, и солнце такое тёплое и безотказное – греет и греет, сколько ни подставляй ему лицо и шею. Тогда все они, мальчишки, садятся в ряд на пустыре на гнилое влажное бревно, подстелив обрывки старых дерматиновых сумок и уже высохших газет.

Он не ждёт. Дремлет в бесконечном дне, отрывается на момент от липкой дрёмы и снова тонет в ней, не поворачиваясь и не шевеля даже пальцами, потому что всё вызывает острую боль. И ещё терпит, терпит до последнего момента, пока, кажется, сейчас лопнет живот, и тут уж, невзирая на колотье и кружение головы, держась за стенку, босиком по холодному полу стремится в туалет, и долго, долго стоит над ржавым унитазом, в котором струится вечный ручеек. Потом, продрогнув, летит, лёгкий и почему-то радостный, в свою остывшую постель, поджимает ноги, сворачивается калачиком и замирает: наступает расплата. Тиски боли безжалостны, и ему, чтобы одолеть их, надо, главное, не шевелиться, а это так трудно, когда болит... Он закрывает глаза, и снова благодатная дрёма забирает его голодное обессиленное тельце.

Но он всё слышит и незаметно начинает ждать, потому что смеркается, где-то далеко хлопают двери, звонки ждут ответа, чья-то речь тревожит нетронутое безмолвие целого длинного дня.

Это самое радостное время, когда возвращается мама, когда не страшна никакая боль, когда совершенная правда, что скоро выздоровеешь, чему не верилось и сегодня утром, потому что боль никак не проходит пятый день... или шестой? Просто он сбился со счёта... А она придёт, подоткнёт одеяло, положит шершавую холодную ладонь на лоб, и они оба замрут на минуту, такую долгожданную и сладкую. За эту короткую минуту боль неожиданно сморщивается, и уже можно проглотить тарелку ненавистной, несмотря на жизнь впроголодь, манной каши из неизвестно где добытой крупы, без молока и масла. Но он тогда не знал или забыл, что их положено добавлять в эту кашу и тогда она становится ужасно вкусной, не комковатой и не заклеивающей горло.

А потом уже, совсем перед тем, как ночь опять разъединит их, мама садится рядом и кладёт руку на его спину, и он сквозь одеяло чувствует тепло этой руки и слышит, уже против воли уплывая в мир сна: «Спи, Малыш, спи...».

Ему хочется ещё раз услышать это. Ещё. Ещё разок... Но сладкий мартовский воздух, льющийся через форточку, совсем опьяняет и смаливает его. Сон... Сон, глубокий и бесконечный. И по этому воздуху, прописанному врачом как единственное лечение, потому что усиленного питания взять негде, он уплывает в своё ещё более раннее детство – грохот бомбёжки, усталые теплушки, горящие от немецких фугасок-зажигалок, колёсный пароход, кренящийся набок от сгрудившихся эвакуированных, стремящихся к берегу, в тишину полумёртвой, переполненной беженцами деревни, под ночную необычайного размера и красоты заволжскую луну, от которой ни спасу, ни придела.

И так круг замыкается. Он медленно и нехотя выплывает в свой нынешний мир из полудрёмы – мир, который никому не доступен и не дорог так, как ему. И только одного человечка хочет он впустить туда и жить там с ним вместе, не потому, что в мире этом уютно, сытно и безопасно, а потому, что он знает, как провести по нему своего дорогого Малыша, чтобы наполнить его добротой и неопределяемым чувством – умением ощущать близких, где бы они ни находились и о чём бы ни думали.

«Спи, Малыш, спи. Жар утекает из тебя через меня, и лунный свет не будет жёстко очерчивать тебя и не будет вытягивать из привычного мира». Этот свет умеет быть ласковым и добрым, как горячее молоко с маслом, убивающее «свинку». Он не знал, что его можно не любить, это молоко, потому что давно не видел масла, а маргарин и лярд совсем не похожи на масло. Он никогда не пил такого, а сегодня соседка принесла пол-литра в банке и кубик масла. И банка, покрытая вощёной бумажкой, с этим кубиком на ней, завёрнутым в такую же бумажку, стояла между рамами окна – в самом холодном месте – и ждала вечера, когда мама подогреет в кастрюльке с ручкой, нальёт в чашку душистое молоко и осторожно опустит в него четверть кубика, а потом ещё твёрдого, как жмых, мёда, неизвестно где добытого.

И это всё надо выпить, торопясь от голода, обжигая губы и стараясь не торопиться, чтобы растянуть удовольствие. Но вдруг остановиться в ужасе оттого, что натворил, и спросить совершенно упавшим от стыда голосом: «А ты?». И не соглашаться, не соглашаться – ни глотка! Ни глотка больше! «А ты?» Вот совсем темно, и теперь, после внезапного пробуждения, выпитого молока, благословенного тепла и прилива жизни, дарованного этой чашкой, сон совсем неодолим. Ты снова подтыкаешь под спину одеяло, и накидываешь сверху своё старое, пригодное только для огородного пугала пальто, и невыразимо сладко, врачующе шепчешь: «Спи, Малыш! Спи!».

Там, только там, у себя внутри, он может погрузить его во всё это, чтобы он вырос навсегда почувствовавшим этот вкус простых слов, выпив его вместе с молоком, – похудел, вытянулся, встал после изматывающей болезни немножко другим. Немножко. Без всяких пролетающих мимо воспитывающих запретов и разрешений, вырос политый этим лунным светом, растворяющим боль и радость, без которых в их собственной междуособной борьбе и поочерёдных победах ничего не бывает настоящего – такого, как «спи, Малыш!».

«Спи, Малыш! Спи! Во сне всё проходит. Луна не втянет тебя в свои безумные игры...»

Когда твоя мама была как ты, я бегал по городу и добывал ампулы, чтобы спасти её!... И он снова свалился в ту дрёму, которая их объединяла сегодня. Неозначенные дороги прихотливой памяти приводили его на заброшенную снежной грязной кашницей улицу среди старых домов, повидавших жизнь ещё до разгула люмпенов и затаившихся после, а потом неожиданно состарившихся, когда рухнули все надежды. По этой улице – в аптеку, где в подвалах ещё хранились вычурные пузырьки от микстур и оподельдоков прошлого века, там через боковую дверь без вывески – в контору управляющего с зажатыми в кулаке в кармане одолженными пятнадцатью рублями, по тёмной скрипучей деревянной лестнице – на второй этаж, сквозь неис-

требимые запахи борьбы, которые распространяют все пузырьки, коробки и таблетки в аптеках в любом конце света. Тот напряжённый вопрос и надежда, засевшие в одном необходимом сейчас имени и отчестве, и отпускающая радость, что он на месте – спаситель. Будто уже отступила болезнь... Нет. Вот они, три выданные грамма надежды, запаянные в острроверхое стекло и уложенные в коробочку с импортным названием, тоже подтверждающим силу средства и оправданность усилий. Домой, скорей домой!

Он летел, не ощущая промокшие ноги, вспотевшую спину и прилипший к шее шарфик в ту ночь, которая была наполнена одним стремлением и просьбой: «Спи, Малыш, спи!» И под рукой ощущалось, как отвергало после укола лихорадку шуплое тельце, плотнее ложилось на залитую лунным светом кровать, словно отдавало ей последние остатки болезни, которой бесполезно было рваться в другую атаку, потому что прозвучало уже рубежное слово «кризис».

Тогда ночь умещалась в такой маленькой и тесной комнатке, что невозможно, некуда было спрятаться от всего, что она предлагает и навязывает – все страхи, насморки духоты, шорохи мышинных вылазок и тревожный звон тишины, топот сердца, перемешанный с гулками басами радиолы из соседнего подъезда, – всё это не смогло заслонить легко обозначенного звука ровного младенческого дыхания. И та же усталая рука, уже не сопротивляясь, а затекши на весь остаток ночи, как проводник, передавала тебе однажды сказанные слова: «Спи, Малыш. Спи!».

Он смотрел на него, ещё не совсем вернувшись из дрёмы, как бы остановясь передохнуть на полпути, смотрел раскрытыми глазами и боялся шевельнуть даже пальцами – удивительно и неразделимо слились все они, самые близкие, в один образ, втиснулись в одну неразрываемую оболочку, нисколько не постаревшую и не изменившуюся за столько десятилетий, сквозь войны, узурпацию власти, геноцид, обман, отрицание веры и океан лжи, вечной, необъятной и неистребимой...

Тут, в лунном сумеречном свете, ему показалось, что он увидел мелькнувший профиль мамино лица, прильнувшего к ним троим и вдруг растворившегося в них, будто втиснутого сквозь их живую общую кожу. Он вздрогнул и уставился на сползшее далеко влево светящееся пятно, почувствовал, как горяча и потна его ладонь на тёплом, мерно вздымающемся и опадающем с каждым выдохом тельце. Сквозь стекло было видно, что ночь растеряла звёзды и медленно отступала перед рассветом.

Заскрипела кровать, одеяло сползло одним углом на потемневший безлунный пол... Тогда он встал и, не боясь заскрипеть шагами, направился к двери, обернулся в её проёме и негромко сказал: «Спи, Малыш! Спи...» – потому что был уверен: и на этот раз он победил.

Митенька

Ангелы так и выглядят. Наверное. Хрупкие, тоненькие, с голубовато-розовыми жилками, проступающими сквозь белую кожуцу, и золотыми локонами, стекающими от макушки во все стороны. Звали его Митенька. Все. Даже те, кто ходил ябедничать не по делу: «А Митенька игрушки не собирает!». Никто и не носил в голове его фамилии... И как такие ангелы у пропойц получаютя?..

Он не знал ни матери, ни отца... А впрочем, отца вообще никто не знал, да и был ли он. Не в смысле непорочного зачатия – просто и сама роженица на этот вопрос ответить не смогла. Долго гадала, кто бы им мог оказаться, да не выбрала никого из своей памяти. Так и осталась в анкете графа «отец» с прочерком. А мать лишили родительских прав прямо в роддоме. Родила и спасибо! Куда же девать ребёнка? В детдом. А ей и забрать некуда – сама Бог весть где ночует, и доверить такой нельзя – она ж его сразу водкой поить станет да ещё какой-нибудь дряни в неё подмешает...

Единственное, что смогла дать ему непутёвая мамаша, – имя.

Митенька сначала развивался нормально: вес набирал, в высоту тянулся, зубки предъявлял и лепетал – всё вовремя. И не капризничал, по ночам не плакал... да ещё такой красавец! Все ахали только да жалели его очень. Митенька! А он тоже всех любил – не дрался, игрушки уступал и не капризничал! Ну ангел да и всё! Но как чуть подрос, замечать стали, что задумывается он... Не то чтобы грустным становится, а отойдёт в сторонку и вдруг будто выключится – не видит никого, не слышит... Ему: «Митенька! Митенька! Митя...» – а он только губками шевелит тихонечко и иногда вздыхает, но глаза ясные-ясные, голубизной брызжут и смотрят в окошко повыше, на небо...

И правда, что-то неземное, ангельское в нём было.

Нянечка тётя Паша, грубая с виду, толстобокая и очень чувствительная, обронила как-то, глядя на Митеньку: «Не жилец он!». Ну, директору донесли, как положено, сразу – особенно в передовом женском коллективе, и получился скандал – большой, с разносом и угрозами. На это тётя Паша, шумно сморкнувшись в платок и откашлявшись, ответила при всех на пятиминутке в кабинете директорском: «Уволить ты мене не сможешь. Я тут сорок один год уже! На пенсию сама не уйду – мне смерть без них, без детишков! Да и где ты такую лошадь мне на замену сыщешь за гр`оши эти?..» Все промолчали, да и директорша ничего не ответила, потому что знала – правда это... А через несколько дней постучала Паша в главный кабинет и спросила, вошедши: «Ольга Фёдоровна, не позволишь мне Митеньку на субботу взять? – и, вздохнув тяжко, добавила: – Ты не сердись, я ить правду сказала... Знаешь, сколько я повидала тут! Иии...» «Правда-то не всякому нужна!» – покрутила директорша головой, как бы ввинчиваясь в пространство, и махнула на пришедшую рукой: «Бери, конечно, да только думай, что говоришь-то! Он же ещё маленький!».

В выходные дни всех по порядку, в очередь, разбирали по домам взрослые, которых было меньше, чем ребятишек, а Митенька, так получалось, чаще всего отправлялся с бабой Пашей в её чистую с деревенскими занавесочками и кучей подушек на высокой кровати комнату... Он ждал этого часа потихоньку, не собираясь, не подавая вида, что волнуется, но когда появлялась его субботняя бабушка, уже без белого халата, и утробным голосом произносила одно и то же знакомое: «Ну чё ты? Готов, что ли?» – он вскакивал и трусил к своему шкафчику с зайцем на дверке, где висели его вещи и лежала серенькая сумочка, из которой торчали длинные уши такого же серого плюшевого зайца.

По дороге они шли обязательно за руку, не спеша, полные счастливого часа, и молча. Каждый думал о своём. Митенька – почему баба Паша так вкусно пахнет, и что завтра они

пойдут смотреть мультики, раз она обещала – обязательно, а сама Паша – что ходить бы ей так со своим внуком, да кто ж ей даст его навсегда в её-то годы, да при её зарплате и образовании... Она и до воспитательницы вот не доросла, а почему – кому какое дело. На должности-то назначают не по душевным плюсам, а по бумажке об окончании, а когда ей учиться было?... Ещё в войну пришла сюда девчонкой, когда эвакуированные повалили... Сирот-то огого сколько война наплодила. Это теперь, когда бы жить да жить, потаскухи вон что творят: и детей бросают, и в пятнадцать рожают – сами ещё дети... Вот перестройка-то эта – хуже войны, всё раздолбали... «Звали учиться потом, правда, – перебивала она сама себя, – да лень было, что ли?» Она уж не помнила... Шло как шло, вот и вышло... Да, правду сказать, неплохо всё же вышло... Вот у неё теперь Митенька, ангелочек беленький...

Когда советская власть рухнула и страна развалилась, стали в их детском доме появляться чужие люди, говорившие на непонятном языке, приносившие новые запахи... ребятам – игрушки и одежду, а взрослым – новые заботы и тревоги. Они показывали фотографии своих домов и замечательных комнат, уставленных шкафами с игрушками, они брали кого-нибудь из ребят на субботу и воскресенье, а потом и вовсе забирали с собой мальчишек и девчонок в новые семьи навсегда... Воспитатели плакали, расставаясь, но при этом говорили тихонько: «Счастливый билет вытянул!» – а в их большом трёхэтажном доме появились цветные телевизоры, конфеты с иностранными фантиками, кроссовки с иностранными названиями и даже Барби с полным гардеробом...

Тягостное ожидание поселилось в тихом, пропахшем щами и карболкой доме. Младшие ничего не понимали, а старшие втихомолку гадали, к кому приедут незнакомые мама и папа и заберут, как прошлый раз Кольку, а перед тем Машку, а ещё до того Васю с Ленкой сразу двоих, хоть они и не брат с сестрой. А Вязниковых не взяли, а они два брата...

Митенька ничего не ждал. Воспитательниц, как все, звал «мама», но у него ещё была бабушка – баба Паша... Но и он смотрел во все глаза, как приезжают чужие, и ходят по дому, и отделяют кого-то, и уводят с собой всё чаще, и одаривают остальных конфетами и игрушками...

Когда кто-нибудь прощался, крепко держась за руку новой мамы, что-то стягивало Митеньку изнутри в маленький комочек, и он смотрел в окно далеко-далеко, где над синим лесом облако то выставляло ноги, будто хотело спуститься на землю, то распускало парус и улетало в голубизну, куда всегда уплывало солнце...

В пять лет он стремительно познавал мир – без разбора, цепкой памятью сохранял то, что проскальзывало мимо взрослых, и всё чаще задумывался. Губы беззвучно шевелились, и со стороны казалось, будто всё его существо витает в этот момент где-то далеко, а вместо него спустился ангел, который не слышит оклика, не чувствует толчка и не знает слов «обида» и «ревность». Потом он «включался», возвращался в жизнь так же внезапно, как исчезал, и снова обретал свой ангельский образ...

Врачи предполагали разное, поскольку простые анализы ничего не указывали... Но все сходились на том, что ему ещё повезло: слава Богу, не хуже – при таких-то родителях, хотя и вспоминали сразу, что про отца вовсе ничего не знают, да хватало и матери с её непотребной сутью... И ещё они предполагали: с возрастом это должно пройти – «перерастёт», и всё...

А ребята вокруг разделились: некоторые помнили своих матерей и даже знали, некоторых матери посещали и обещали, что скоро заберут их, – они ждали и хвалились перед другими, что у них-то есть матери... Митеньку пытались задирать и дразнить: вот у него никого нет, но он не завидовал, а только отключался – может быть, от нервного напряжения – смотрел отстранённо вдаль, словно ждал чего-то, чего другие знать не могут...

Когда появились эти двое: он – высокий, с красивой седеющей головой и она – в тренировочных брюках со вздутыми коленками, с толстым животом, с которого спереди неровно и низко свисала майка, как короткая мятая юбка, что-то шевельнулось в душе Митеньки. Он

почувствовал, что с ним должно произойти небывалое, неожиданное – именно с ним, потому что ловил на себе мимолётные, но пристальные взгляды, видел, как «мамы» и эти, новые, говорят, стоя в дверях, и, хотя не слышал ни звука, ему казалось – о нём...

В доме уже привыкли, что за кем-то приезжают. Это случалось теперь нередко. Все напрягались, наступало тревожное ожидание, пока не выяснялось, за кем именно... Тогда напряжение спадало и разряжалось скрытыми слезами, ночными истериками, повышенными дозами транквилизаторов и счастливой бессонницей избранника... А нянечки непривычно недосыпали по ночам и тихо ворчали...

Митенька с испугом смотрел на свою бабу Пашу, потому что, возможно, он один-единственный почувствовал, как заволновалась она, стала скованно говорить и всё чаще незаметно поглаживала его по спинке, чуть слышно бормоча: «Не тушуйся, не тушуйся!». Она, не посвящённая в тайны директорской кухни и лишь по слухам и намёкам угадывавшая следующего избранника, при каждом приезде переживала больше всех и боялась за «своего», единственно близкого и любимого на всём белом свете, но не дай Бог, чтоб это обнаружилось прилюдно: такое каралось жестоко, вплоть до увольнения с работы, да и каждый понимал, какую боль невольно может причинить остальным детям...

Баба Паша замерла и ожидала. Новая пара каждый день приходила в дом и проводила с ребятами время до отбоя, никого не выделяя, а когда оказалось – правда, что это за Митенькой, и он в субботу не уйдёт ночевать, а останется с новыми родителями в доме, в специальной комнате, – словно какая-то жила лопнула в ней, и кровь так ударила в голову, что пришлось поскорее выскочить на крыльцо и глотнуть прохладного воздуха.

Происходящее Митенька переживал гордо и с недетским достоинством: не вешался на новых родителей, не выпрашивал подарки и не капризничал... Он был очарован отцом – его ростом, сильными руками, непонятно чем близкой ему улыбкой и единственным произносимым по-русски, с большими усилиями и акцентом, словом «ка-ра-шо». Он и матери своей уже прощал её непомерный живот, некрасивые брюки и космы, свисавшие по сторонам лица: ему больше нравились гладко натянутые волосы и пучок, как у бабы Паши, и платье с тонким ремешком, как у Ольги Фёдоровны, но ведь это мама... Он изо всех сил хотел полюбить её... И эти два замечательных слова теперь касались именно его – «папа» и «мама»...

Он замирал и улетал куда-то в неведомую даль ошеломляющей фантазии и света, глаза останавливались, тарасились и даже не моргали, а губы тихонько шевелились... Он не слышал, как шепталась пара, кивая на него, как щёлкал пальцами отец, пытаясь привлечь его внимание, как легонько до рукава дотрагивалась мать... и испуганно качала головой...

«Родители» непривычно долго пробыли в их городе. Они опять ходили и присматривались, потом опять остались ночевать в доме... с другим мальчиком... и Митенька понял, что его не выбрали...

Когда они не появились утром в привычное время – догадался, что уехали... И Кости не было на обычном месте за столом...

Митенька не заплакал, и лицо его не исказила никакая гримаса, только, если присмотреться, было видно, как мелко дрожал в его руках подаренный «родителями» зверь непонятной породы, которого он держал перед собой...

Баба Паша сквозь обиженную радость почувствовала страшную гнетущую тоску и нарочно задержалась, чтобы пройти после отбоя по палатам и удостовериться, что Митенька спит...

«Ты что задержалась? – удивилась её товарка Клава. – Ступай. Отдыхай – сами управимся...» – и понимающе вздохнула. Баба Паша незаметно перекрестила Митеньку и тоже вздохнула... до субботы было ещё два дня...

Ночью ему приснилось, что он сидит посреди реки, на большом крутолобом ноздреватом валуне и старается удержаться изо всех сил, потому что сидеть неудобно – твёрдо, и то одна

нога, то другая начинают сползать, и тянет его вниз, к гладкому полупрозрачному зеркалу. Он клонится в одну сторону и тогда протягивает руку в другую, чтобы подтянуться, но не за что зацепиться, и гладь воды качается и ослепляет, так что невозможно поймать равновесие, но он изо всех сил напрягается и рывком успевает качнуться, чтобы не сползти и не упасть в глубину, тогда деревья, отражённые с противоположного берега, кивают все сразу и тянут к нему снизу свои лапы: иди, иди, иди к нам, иди...

Он открыл глаза, плохо понимая, что делает, сполз с кровати, босиком неслышно выплыл из комнаты, поднялся по лестнице на третий этаж, в туалет, распахнул приоткрытое окно, втянул сочный ночной воздух, вскарабкался на подоконник, ударив коленку о ребро холодной батареи, разглядел чёрный гребешок далёкого леса, куда уплывали облака и садилось солнце, оттолкнулся и полетел по-ангельски туда, за ними, в недостижимую даль и навсегда.

Третья попытка

Чего бы, казалось, проще: ни вернуть, ни оспорить, ни поправить что было.

Когда ветер дует с залива, нагоняет волну, запирает воду в реке, она поднимается, сжимает пространство между землёй и небом и наполняет город тревогой, тоской и смертью...

Когда город полон смертью и окольцован врагами, ждут ветра с Ладоги. Он взломает лёд, дохнёт холодом и надеждой... На воде не остаётся следов, и льдины унесёт вместе с врезанными в них колеями дороги, воронками от бомб и снарядов, вмёрзшими железьяками и кузовами, лафетами и колёсами, оставшимися от разбитых машин и пушек, вместе с останками, недоклёванными воронами, вместе с надеждами и слезами, которые нигде не оставили следа и больше ничего не значат и не стоят...

Теперь вспоминать не трудно... Не то чтобы время лечит, оно не лечит: наслаивает, наслаивает, и сквозь толщу всё труднее пробиваться старой боли – новой хватает, а слои всё ложатся и ложатся... От этого сгибается спина, и тяжело ногам, и голова клонится книзу, вроде силится человек разглядеть получше, что было, и порой снова удивиться...

Детей стали вывозить из города вместе со стариками сразу. Ещё и не было этого слова – «блокада», да и не думал никто, что далеко уже на юго-востоке от города с завыванием на резком снижении из-за облаков вынырнут самолёты с крестами, первыми же бомбами раскурочат путь впереди паровоза, а потом звеньями методично и с насмешкой, покачивая крыльями, потянутся вдоль состава, затарахтят пулемётами... Кто помоложе и поудачливее, соскочит на откосы и бросится со всех ног до ближних кустов и ёлочек, высаженных вдоль полотна для его защиты от снега в метели и бураны, а остальным вечная память, и упокой их души Бог, проглядевший, знать, как хляби небесные прорвало свинцовым градом...

– Ты думаешь, им сверху было видно, в кого попали? – интересуется она, замедленно произнося слова. – Ты ж летал тоже! Видно?

– Я же не тогда летал, позже, и не на таких машинах, ещё пострашнее... Да зачем тебе знать это? Зачем? Ты молись, что жива осталась!

– Осталась? – удивляется она. – Всех же убить не могут?

– Могут. Могут. Послушай, зачем вспоминать это?

– А само вспоминается. Понимаешь, раньше впечатлений в жизни больше было, а теперь один ящик поёт, другой показывает – да это ж всё чужое, а своих впечатлений мало, и старое снова наверх поднимается... Ты видел, как белка в колесе бежит? И я теперь в колесе своего прожитого. И сил бежать нету, и остановиться не могу, а даже наоборот: чем старше, тем колесо всё скорее крутится. Видишь, я за ним не поспеваю: медленнее говорю, а бегу всё быстрее, быстрее... Чего достичь хочу?

С первого раза, как нас вывозили, в бомбёжке бабушку с дедушкой навсегда потеряла. Потом отец со станками уехал в Сибирь – ни адреса, ни треугольничка. В тайге на снег станки поставили, высоковольтка рядом – подключили, и пошла работа. Те же дети работали, других никого не было. А потом вокруг цех строили, ну это ты всё читал, знаешь...

Вторым эшелонам отправили... Там уж одни дети: дома детские, сады, даже ясли, на авось: а вдруг прорвутся, в городе всё равно конец... Я уже большая была, помогала. Мне тринадцать было... Сначала помогала в вагон сажать, потом, когда сожгли наш поезд, по кустам искать, по лесочкам собирать – кого хоронить, кого хоть укрыть. Уже осень настала. Как обратно тащиться?.. И всё: кольцо и зима, блокада... Ну, ты же читал про это... А потом уже ходили по городу, всех детей опять собирали, кто дышал ещё – это уже когда вода высокая стала, полая пошла, чтобы их вывезти...

– Гиблый город, – вставил он в паузу. – Утопленник просто, в болото его император бросил, недомыслив. Не зря ж никто не жил там прежде... И никогда уж теперь этот город из болота не выберется. Судьба...

– Конечно, судьба... А мы, знаешь, тоже через болото какое-то шли. Это я помню, когда нас потом на катер грузили. Я ещё шла сама, а многих несли. Всех в трюм спустили: оттуда уж бежать некуда было, если что. И душно, но никто не плакал, даже маленькие совсем. Знаешь почему? Все слушали. Мотор у катера гудит ровно, а когда вдруг над ним ещё гул, мы знали, что это самолёты, только не видно же, какие, а по звуку угадать не умели. Там одни дети были, взрослых – никого: места сэкономили. И когда вдруг стало трясти и кидать, поняли: опять бомбят... Один раз сильно очень подкинуло. Я головой об пол ударилась. Больше ничего не помню...

– Ты подожди, не пропускай... Ты медленно говори, но и медленно рассказывай – не пропускай... Всё из маленьких клеточек в мире сделано, ты не теряй их.

– Я не пропускаю. Темно стало. И ничего не помню... Когда очнулась, было тихо и очень жарко. Это я потом поняла, что от пожара: там, наверху, горело, весь катер, а меня в угол забило. Темно совершенно, и крикнуть не могу, и подняться, даже голову повернуть. Только когда глаза привыкли, далеко-далеко пробился свет рыжий, и кричит кто-то сверху: «Есть там кто? Отзовись!». Я поняла, что это ко мне, а ответить не могу. И дым вниз пополз, совсем душно стало. Последнее слышу – наверху орёт голос: «Ты понял, что я их по счёту сдать должен!», – и сильно выругался, чего я тебе повторить не могу. И всё, внутри жарко стало. Я на самом деле ничего не помню, только тот, которого ругали, полез вниз и ещё троих нас нашёл и вынес. Если б я одна осталась, может, и не полез бы. Они пересчитали – троих нет! Это уже он мне потом рассказал, и теперь мне кажется: я вроде сама всё видела. Так он рассказал, что это в меня перенеслось, и я уверена теперь, что сама видела, а на самом деле – нет... Но я не вру. Я ж первый раз в жизни рассказываю, тебе. А зачем тебе?

– Сказать правду? Не знаю, только мне кажется, раз это было – я должен знать. А то прожить и не знать такого... Я уже не молоденький тоже, умереть и не знать такого...

– А ты знаешь, что я сама запомнила точно: там пол железный был! Гладкий-гладкий, и плоский, и очень холодный... Он, по-моему, прямо в воде был – дно этого катера... Может такое быть?

– Отчего не может? Всё может...

– И я его руками трогала, ладошками. На спине лежала и с двух сторон ладошками гладила, нежно-нежно...

– И говорила что-нибудь? Молилась?..

– Не помню. А вот что гладила, – помню. Нежно-нежно...

Если надолго замолчать, может, и не будет дальше ни слова... Память странная штука – у неё ни законов, ни правил, ни приличий: вдруг подкинет что-нибудь некстати и затопит, замукает, заморочит, а если замкнёт её – ничем не отворишь... Но одиночество сильнее памяти...

– Ты знаешь, он потом ко мне приехал...

– Кто?

– Кто приехал? Фёдор. После войны, разыскал... Тот, который сквозь огонь вниз спустился, спас нас. Он меня старше на шесть лет был...

– Разыскал тебя?

– Да, представляешь! Издалека откуда-то, я уж забыла. Разыскал, разыскал...

– Зачем?

– Предложение делал...

– Предложение?!!

– Да. А я ему сказала: «Зачем ты так? Один раз меня спас, а теперь убить хочешь?».

– Так сказала?

– Сказала, а он не понял. Я ему говорю: «Я ж тебе жизнью обязана, как же мне „нет“ сказать. Ты же знаешь, что у меня кроме благодарности вечной нет никакого чувства»... Видишь, как вышло... Неудобно... Я мучилась очень...

– Разве за всё платить надо?

– Не потому... Знаешь, я подумала, а если бы мне пришлось на его месте...

– И что?

– Я себя спросила... И от этой правды мне всю жизнь больно: я бы, как он, не сумела... Я трусиха ужасная... Мы потом встретились ещё раз, случайно, уж много позже, и я ему сказала это...

– А это зачем?

– Чтобы освободиться...

– Ну, тебе-то в чём виниться? Так легла карта!

– Не в этом дело. Я от себя освободиться хотела... А он мне, знаешь, что ответил? Я же не слышала тогда ничего, как они орала друг на друга наверху у люка... Он сам сказал мне, Фёдор: «Я бы тоже не полез. Анисимов, лейтенант мой, достал пистолет и говорит: «Лезь, сука! Мне что, под трибунал идти, что ли? Сказано: сдать по счёту! Лезь! Не то я тебя шлёпну...»» Он такие слова сказал неприличные... Я тебе повторить не могу... Я тогда плакала очень. Представляешь, я ведь никому не рассказывала, даже детям, да им и не нужно. Тебе вот первому... Так вышло... Ты меня всегда разговорить умеешь...

«Циркуль»

«Отличная позиция, – думал он, разглядывая из окна двор: напротив – глухую стену приземистого кирпичного дома, слева – трёхметровый забор каменной кладки начала прошлого века, справа – створ узких ворот с разведенными в стороны чугунными крашеными-перекрашенными и облепленными серой пылью по чёрному лаку решётками. – Здесь можно долго продержаться... если только не снайпер сверху, с крыши, или танк подгонят к воротам, в лоб... А так никому не подобраться... На гранаты им рассчитывать нечего...».

Сзади него шаркали шаги, какой-то лёгкий говорок шелестел мимо... Хихикнули девочки под стук каблучков по щелястому, щербатому паркету... Он внезапно взмок, почувствовал такое категорическое выпадение из окружающего мира, что, казалось, не в состоянии будет вернуться... «Какая позиция? Какой снайпер? Какой танк?.. Если бы они, проходя мимо, могли заглянуть сквозь меня моими глазами, что я вижу, – точно бы ужаснулись и отправили в психушку...».

По этому коридору, отрезанному от ротонды параллельно тянущейся вдоль наружной стены фанерной перегородкой, бесконечно сновали из старого корпуса в новый. А саму ротонду бывшей барской усадьбы тоже разделили на комнаты-лаборатории, из которых сквозь хлопающие двери сквозняк захватывал запахи и смешивал здесь: резкий аммиачный, приторно-сладкий черёмуховый, горелый, густо заправленный пылью от расплавленных электродов сварки... Это был «циркуль» – самый короткий, удобный и спасительный в дождь или мороз путь... по дуге градусов в двести...

Но взгляд его всё никак не мог вырваться из решётчатого старинного переплёта высокого окна: ровно покрытые пылью с двух сторон, ставшие дымчатыми стёкла, и сквозь них вдруг равнозначно затуманенное временем виделось: такой же полукруглый двор, забор чудовищно крепкой кладки, которую не брал 76-й калибр, створ ворот, решётки, ротонда, заложённые мешками окна, щебечущая немочка на каблучках, прорывавшееся сквозь кашель ворчание старухи, наверное, матери, позиция. Запах весны, черёмухи, палёного перекаленного металла... Конец войны... и он уже капитан. Кого не уложило навсегда, росли в чинах быстро.

А потом вторая картинка, только он снаружи, во дворе... В «циркуле» заложены пролёты окон, а пулемёт такой же, как у них, и он знает, что те могут долго продержаться, а у него рота... да что за рота – одни мальчишки срочной службы... мир же! Война почти десять лет, как закончилась, и что они тут делают, выглядывая из-за мощных столбов?! И он не хочет учить жить ни тех, что там укрылись, ни тех, что за спиной. Он выпал из времени... навсегда...

Теперь он старше тех, что с ним рядом, в аудитории, на десять лет, и седина у него в висках так нравится девочкам, вчерашним школьницам...

Он вытягивает наконец взгляд из окна, как штык из осевшего тела, и грузно идёт на бесшумных толстых подошвах модных полуботинок по «циркулю» до конца, а там – через бывший чёрный ход на улицу, перешагивает через лужу и сразу за углом слева ныряет в тамбур, по ступенькам в подвал, опять налево... За двойной дверью в жёлтом свете предбанника два шага – и ещё одна дверь, а там сразу длинное тело тира с яркой противоположной стеной в трёх зебровых кругах...

– Здорово, Михалыч, – говорит он и протягивает руку сидящему у стола в полутьме человеку.

– Навестить собрался? – Отвечает тот ехидно. – Мне гостями заниматься некогда...

– Не ворчи! – Не обидевшись, отвечает вошедший. – Не было сил...

– А сейчас где набрался? – Уже зло возражает сидящий. Он пристально смотрит на молчащего вошедшего, потом грузно встаёт, прихрамывая, подходит к железному шкафу, открывает скрипучую створку и вынимает оружие. Медленно возвращается к стойке, кладёт писто-

лет, рядом с ним перевернутую пустую крышку от коробочки, из которой отсчитывает в неё девять патронов, и кивает головой: – Иди, работай, у меня группа в два тридцать...

– Я успею, – отвечает вошедший, подходит к стойке, заряжает пистолет, не глядя, на ошупь, ловко и бесшумно. Хозяин, прихрамывая, направляется к трубе, но пока он медленно совершает свой короткий путь, один за одним гремят выстрелы и вошедший кладёт оружие...

– Спешись? – Ворчит хозяин тира. Он несколько мгновений молча смотрит в трубу и совсем другим голосом произносит почти восхищённо: – Чёрт!

– Дай ещё! – Говорит вошедший и протягивает руку. Хромой опять тащится к шкафу, вынимает новую коробочку и, не раскрывая, вкладывает в так и висящую протянутую руку. Вошедший снова поворачивается к стойке, разрывает с треском бумажную ленту, опоясывающую коробку, и наполняет обойму... В тире тихо, и выстрелы сливаются в один. Он снова заряжает и снова палит, и снова, и снова, кажется, в каком-то запое, остервенело, не целясь, без перерыва, нажимая и нажимая на спусковой крючок и возвращая чуть подпрыгивающую, вытянутую на всю длину руку в её необходимое исходное положение, пока не опрокидывает вверх дном пустую коробку от патронов... Тогда он кладёт пистолет и поворачивается уходить...

– Чёрт! – опять произносит хромой, отрывая взгляд от трубы и пожимая протянутую руку: – Один в шестёрку засадил на четыре, – и не слыша ответа, добавляет: – Вот и на соревнованиях так подсадишь... Тренировка, понял? Тре-ни-ров-ка!

– Понял, – говорит уходящий. – Я так там натренировался, что никак забыть не могу... Понял?

– А ты не пали в прошлое! – Возражает хромой. – Оно к этому делу не чувствительно, я тебе скажу. Со зла рука дрожит... Ты в мишень целись! А не в призрак, понял?

– Ладно, Михалыч... Я понял... – но Михалыч не может успокоиться и продолжает, не заботясь, чтобы его слушали.

– У меня тоже повод есть... больше отняли...

– Я знаю, – мрачно возражает стрелявший. – Только тут «больше» не бывает. – Он бросает вниз руку, как стряхивают термометр, на секунду останавливается, тупо смотрит в дверь, оборачивается лицом к присевшему на край табуретки Михалычу, и в свете дежурной лампы и рефлексов от стены с мишенями видно его сухое лицо с торчащими скулами, туго сжатый рот и горячие глаза... – Я в одну дырку все уложу, чтоб считать не надо было, – обещает он на прощанье и берётся за ручку двери.

Он возвращается в «циркуль» и опять становится у окна... Оба полукружья разведенных временем «циркулей» неожиданно совмещаются, заключив его в центре, где за спиной тотчас оказались у каждого проёма Абашкин, Бродский, Газануллин, Иверов, Кравченко, Лакаускас, Пухов, Широбоков... да! Сашка Иванов... прильнувшие к прицелам. Но как только он оборачивается, оказывается: сквозь каждую пустую, не загораживаемую никем раму за стеклами, расчерченный переплётами, виден двор с заброшенным фонтаном, посередине наивно бесстыжий писающий амур так и замер, давно израсходовав струю, очевидно, навсегда... Над пустым, замусоренным резервуаром... На каменном бруствере круга, подложив книжки под себя, сидят нога на ногу парочками студенты, согнувшись над конспектами и о чём-то споря. Их лиц не видно... Может быть, это те, что остались навсегда у окон «циркулей» и внутри, и снаружи... И он, чудом выживший. Почему? Отказавшийся от всех посулов, привилегий, звёзд, академий, теперь здесь... Столько лет мечтавший угадать, как дышит строчка «На холмах Грузии лежит ночная мгла...»¹, как она одна вмещает горы, звёзды, море воздуха, синееющего над бесконечной далью, и уже открывающую гениально просторную вечность «Печаль

¹ А. С. Пушкин «На холмах Грузии».

моя светла...», и опять отложивший это надолго... На филфак попасть нечего было и думать: фамилия цеплялась за все створки папок и никак не пролезала в список, словно буквы растопыривали свои завитки и закорючки и не было силы ни укоротить их, ни расширить рамки столбцов...

Ему было всё равно.

Химия – тоже увлекательное дело. Радикалы, валентности, бензольные кольца, крекинги, перегонки, ректификации... и тирование – какого ты цвета? Везде ценз, лакмусовая бумажка, нашедшая себе применение в заанкетированной жизни...

В первый же день он случайно набрёл во дворе института на полустёртую табличку «Тир» и под словом – потерянные строки расписания... Что-то толкнуло его туда, в глубину полуподвала, и рука снова привычно сжала холодную рукоять оружия...

А что он ещё умел делать? С первого дня уральской пулемётной школы в истинные шестнадцать, а не добавленные для военкомата восемнадцать и до порога этого старого особняка – стрелять, ежедневно стрелять и не думать о том, куда летят выпущенные тобой пули. Расплата всё равно придёт – он не формулировал, но точно знал... не от других, не из книг – ниоткуда! Он чувствовал это, но до поры заглушал и топил в повседневной тяготе, и теперь, после вынужденного перерыва, с первого выстрела здесь, у Михалыча, понял, что это его дело, что это он действительно умеет. И ещё он знал, стоя тут, что этот «циркуль» никогда не выпустит его из своей круговой орбиты, никогда не даст отдыха и забвения, что не случайно судьба привела его сюда, что всю жизнь он назначен стоять у окна и выбирать позицию, как было на своей отбитой у немцев орловской земле и в чужом безвинном европейском городишке...

Жаворонок

Во влажный запах прибрежных мостков умещалось теперь всё Мишкино детство. Он сбегал поутру с пригорка по тропинке между деревьями, осторожно ступал шага два по чёрным скользким доскам и смотрел сначала под ноги – как в щели между ними внизу блестела вода, а потом – вдаль, где эти доски начинали расплываться в тумане, поднимающемся от озера. Что-то кричал ему дрозд с берега, воробьи дрались на песке, но он не обращал никакого внимания – стоял, замерев, ждал и впитывал запах: втягивал воздух ноздрями, казалось даже, самой кожей. Туман запутывался в его волосах, майка навлажнялась невидимыми капельками, и холод пробегал по телу, проверяя, куда ещё не пробрался, в каком уголке не застрял, хоть ненадолго, чтобы погреться...

Затем он сразу сбрасывал штаны, рубашку и осторожно ступал по скользкому, чтобы не упасть, доходил до середины мостка, поворачивался лицом к воде и плюхался в неё. Сначала казалось, что дыхание остановилось, а когда голова показывалась над поверхностью, телу становилось тепло-тепло и долго не хотелось вылезать...

Плавать Мишка не умеет, поэтому и не идёт до конца мостков. Там с головкой и дна не достанешь, а тут можно стоять на гладком песке, большим пальцем выкапывать в нём обкатанный камешек и, замерев, слушать: по воде далеко звук летит... Сначала тонкий скрип, будто чайка, когда ссорится, «кри-и, кри-и», потом еле-еле слышно: «пыл-плыл, пыл-плыл» – это плитки вёсел по воде шлёпают; потом уж совсем близко вода по щекам лодки возле носа плюх-плюх-плюх-плюх... ходко идёт. И вот она вдруг разом выросла метрах в пяти, а Мишка раз – и головой под мостки, чуть колени согнул и стой себе сколько хочешь, наблюдай... голова между водой и досками.

Лодка бортом по мостику ширк-ширк, потом днищем по песку – и встала... А Мишка с другой стороны настила вылез и смотрит ей в спину... Тольваныч ноги за борт – и прямо в воду, штанины до колена закатаны... Сперва вёсла вынес, на попа у дуба поставил, за садком вернулся, а улов в ведре... Мишка сложил ладонь лодочкой и плюхнул по воде – очень гулко получается. Обернулся рыбак и смотрит:

– Ты что ж, мил человек, меня ожидал, позволь спросить?

– Не-а... я зарядку делаю... – улыбается Мишка.

– А! Понятно, понятно... Ты бы не застыл, мил человек, потому что подведёшь меня страшенно... Сказать тебе даже не могу как. А если насчёт рыбы – пожалуйста, пойдём посмотрим, какова нынче...

Но Мишка не идёт к Тольванычу, потому что не может смотреть на грустную рыбу в ведре... Однажды он так весь улов-то и выпустил. Оставили ведро рыбаки чужие на берегу на солнце – чего оставили, куда ходили?... Подошёл он, да как увидел серые рыбы глаза влажные – точь-в-точь будто они плачут там, ухватился за проволочную ручку и стал волочить по песку ведро – канаву прокопал полукруглым краем днища, а как вода озёрная подбивать стала ведро и тащить стало легче, он его прямо на глубину заволок и притопил... Рыбы-то не поверили сразу такому счастью, толкуются, глупые, в стенки тыкаются, никак понять не могут, откуда свежей струёй потянуло. Тогда Мишка чуть наклонил край ведра – и они бегом! По одной, по одной – безо всякого шума-плеска, только хвостами на прощанье раз-раз – и нету. Потом его чуть не прибили – те, когда вернулись... От матери тоже попало – нажаловались, конечно, мол, хулиганство... А он и спорить не стал... А на всякие хитрости и обманки живое-то вытягивать так, что дышать нечем, – это что? Хулиганство-хулиганство...

– Ты, значит, как уговорились, слышь, Миш, не подведи... А то прошлый раз, когда мать в город тебя возила, так и вечер пустой был... Вот те честное слово...

– Какое? – интересуется Мишка.

– Ну, какое? Моё. Хошь? Мужское! Хошь? Рыбацкое...

– Рыбацкое не хочу... А уже припекает... Тольваныч, а мы как – на мотоцикле опять?

– Чего тархтеть зря. Тут пройти-то с полкилометра... Ты бы обтёрся, а то весь пошёл пупырчиками, как гусак. Голос-то беречь, мил человек, надо, это ведь от Бога дар, не всякому... А хочешь, пойдём чайку с мёдом или ушицы вчерашней с полмисочки?

– Пошли, – соглашается Мишка и идёт рядом, только не с той стороны, где ведро...

Дружба у них странная и случайная вышла. Началась она в прошлом году, когда появились тут, в глухом углу, мать с мальчишкой в начале лета, вроде чужие, пришлые. Остановились у Петелихи... Да тут и домов-то по пальцам пересчитать: деревня с конца двадцатых хиреть стала... Богатая была, усадьба барская на взгорке в дубах стояла. С неё начали. Зачем сожгли? Ну разграбили, растащили – ещё понять можно, а сожгли зачем? Да и барин не злой был... но свели счёты. Потом всех раскулачили: сказали, что гнездо здесь кулаки свили... Всех в кулаки записали... А тут войны одна за другой. Три войны подряд... Мужиков ушедших по пальцам сосчитать, кто вернулся... Двоих потом свои забрали, как после ясно стало, навсегда, за то, что в плену были. За 10 лет никого не осталось. После ещё бригадира Тимонина посадили, Пашу Берегового – сказали, шпионы... На пустые места мало людей потянулось. Бабы, кто выжили, к детям куда-то подались, вдовы, что смогли судьбу устроить, тоже с мест снялись. Он и сам неместный – соседский... Всё это на его веку случилось.

Бобылём жить трудно... С детства у него один глаз слепой был, потому и выжил. На войну не взяли, а жениться не успел... Вот как стало к старости клониться время, он и решился, из соседней деревни перебрался. Городок тут, правда, недалеко, а ехать неудобно: так бы рыбки наловить да продать, а на дорогу потратишься. А здесь продать некому. Наловишь, наловишь – в три горла есть не будешь. Одной соседке отнесёт Прасковья, другой... Сам он стесняется, такой человек...

Как-то вечером сидел он с баяном в избе, наигрывал, вдруг за раскрытым окном обнаружился шорох непонятный. Выглянул он и увидел мальчика. Ты чего, мол, и зазвал его в комнату, стал расспрашивать, мёдом своим угощать майским – так и познакомились. А после чаю взялся он опять за баян, да просто так и сказал: «Ты, подпевай мне... Песни-то какие-нибудь знаешь?» А когда мальчишечка запел, он вдруг напрягся весь и даже играть стал тише, чтоб не заглушать его. Такая пошла у Мишки линия высокая и чистая, что, казалось, стаканы на полке отзванивают. И чего только не знал он! И «Тёмную ночь», и «Летят перелётные птицы», и «Ой, Самара городок», а когда завёл «Ой, да ты, кали-и-и-и-ну-ушка, ой, да ты, мали-и-и-ну-ушка...», почувствовал взрослый человек, что слёзы у него сейчас побегут из глаз и смахнуть их не удастся – руки заняты, только что в плечо пиджака упереться на сторону да на другую и промокнуть их... Откуда такой колоколец в горле у мальчишки появиться может – ни натуги, ни трещинки! Как возьмёт звук, он у него горошком в горле катается да в другой звук так плавно перетекает – ни перерыва, ни вдоха... «Мил человек, ты дыши хоть, не забывай», – хотел он сказать, да осёкся: какие тут советы, когда дух захватывает... А мальчишка запыхается, наберёт в себя запаса побольше и опять как заведёт... Только по радио, может, и слышал он такое душевное пение. Но здесь-то живое, рядом...

– Миш, а Миш, тебе учиться надо!

– А я и пойду в школу осенью, – согласился Мишка.

– Да я не про такую учёбу говорю! Тебе надо петь учиться!

– А что, разве так нельзя? Разве петь учатся?

– Э, мил человек! А как же, это наука большая! В консерваторию тебе надо! Там и грамота музыкальная – ноты, значит, и профессор тебя учить будет. В Москву надо...

– Нет, – Мишка не согласился. – Я самолёты буду строить.

– Почему самолёты? У тебя что же, мечта такая?

– Да, чтобы они не разбивались.

– Разве так уж и бьются?

– Бьются... сильно...

– Кто ж тебе сказал такое? Да у нас знаешь какие самолёты, лучшие в мире... Может, у тебя отец самолёты строит?

– Нет. Он разбился. Построили самолёт, а он его испытывал... А я такой построю, чтоб никогда не разбивался...

– Эх, вот оно что!.. Ну прости, мил человек, хорошая мечта у тебя. Сколько ж тебе людей спасибо скажут... И отца непременно жалко. А только голос-то редкостный у тебя. Ты мать-то, маму, мил человек, попроси – пусть тебя умным людям покажет. Они то же скажут... Вот был бы я не самоучка, и жизнь у меня была б другая, музыкальная! Да когда учиться-то было? Война да война... А сам попытался, знаешь, я и самоучитель купил... Книгу такую с объяснениями и нотами, но духу не хватило... Работать надо, уставал очень, а чтоб по-нотному играть, надо учиться много – самому освоить просто невыносимо...

Вот так и началась их дружба в прошлом году. Само собой вышло: что ни вечер – у них спевка. Сначала вдвоём были. За неделю весь запас Мишкин перепели. А тут как раз и выяснили они, что уже несколько дней, как приходят местные бабы со своими стульчиками да скамеечками. Садятся укромно за разросшейся акацией, чтоб не смущать артиста, значит, и слушают... А когда песни повторяются часто стали – запас иссякать вздумал, они заметили и начали помощь предлагать да подсказывать. И пошла такая в деревне жизнь по вечерам, что со всех огородов да дворов не к телевизору спешили одиночество коротать, а на Мишкин голос...

В соседнем Глухове, такой же бедолажной полупустой деревеньке, с полверсты, не больше – и там прослышали про их затеи... Потянулись любители...

А на этот год и сами они – Мишка с Анатолием Иванычем – стали на выходе выступать. Закроет Анатолий Иванович свой баян полный в чёрный выгнутый да скошенный футляр, ремень в ручку и на плечо... А идти по-над озером дубовой рощей – красоты наглядятся по дороге, вроде специально, чтоб потом её всю и выпеть на разные мелодии.

Никуда, конечно, мама Мишку не показала после первого лета, хотя говорили ей и в городе. Огорчился Тольваныч, когда узнал, да помалкивал – не набрался смелости чужой женщине советы давать, только погрустнел как-то: чем он Мишку подпереть мог? Петь-то славно, конечно, и душе хорошо, да пареньку бы время не упустить. Своих детей не имел он и теперь переживал за чужого, словно сказать ему хотел, что сыну бы сказал: я не смог, а ты дерзни, раз тебя Бог отметил... А такой талант всем замечен был.

«Подрастёт ещё», – думала Мишкина мама. Недосуг ей было заниматься этим – сыт бы был да дом в порядке... В тридцать лет вдоветь несладко. Но однажды, когда не оказалось сына дома, заволновалась и пошла его искать. Кто-то и подсказал ей, что там они, в Глухове, наверняка, потому что шли вместе с Тольванычем рощей в ту сторону. Она туда и отправилась. Решила наругать сына, что ушёл не сказавшись.

Музыку творили в большой комнате – не любил Тольваныч посиделок на скамеечке у забора или за околицей... Полна комната набилась, окна-двери пооткрывали от духоты... И пока шло всё знакомое, рассматривала она, как её Мишку слушают люди. А когда вдруг запел он такое, что она вроде по радио только слышала, уставилась она сама в рот ему и почувствовала, что прямо трясёт её всю, особо когда до самых верхов добирается Мишка и такая нитяная нота звенит, а баян так бархатисто под ней стелется, что, кажется, задохнётся от волнения. И ей самой тогда воздуха не хватает, сердце колотится: вдруг сорвётся с высоты такой – костей не соберёт! А он – ничего, знай себе выводит: «Не видать певца полей, где поёт так громко над подруженькой своей жаворонкиной звонкой...». Просто про себя вроде поёт! И жаворонка она воочию видит в вышине где-то, под синевой... И тут по-настоящему поняла она, что ей говорили и Тольваныч, и соседи в городе, – не глухая же... И так ей страшно стало: отчего

это всё у них в семье в вышину мужиков тянет?! Один сорвался, теперь второй в поднебесье забраться хочет... Может, не надо этого вовсе, не надо! Может, от этого беды одни, а ходить надо по земле, как все люди... Не лезть вверх. Мысли стрекотали кузнечиками и тоже рвались вверх, скоро-скоро... И она почувствовала ещё, откуда этот страх. От беспомощности. Пел и пел мальчишка... Она сама петь любила, а теперь увидела, что он уже забрался туда, на самую верхотуру, где поют жаворонки, и ничего нельзя поделать, чтобы вернуть его обратно на землю.

Людмила Дорофеевна

В этот год зима стояла настоящая – русская. Снега валили, морозы разгонялись по крепкому насту, и дым оставлял белые прописи на чистом холсте неба.

«Не добратья мне, – она с тоской смотрела, как дворники волокут лопаты снега, налегая на древко всем телом, и остающаяся полоса тут же покрывается снова белым пухом. – Не добратья. А Верке в школу... Не добратья...».

Когда она дежурила во вторую смену и дорогу вот так заметало, дочка прибежала из школы, не задерживаясь, а она ждала уже одетая и готовая. Они не стоваривались, она ни разу её не просила. До поликлиники было метров пятьсот, не более. Прямо у подъезда она медленно сползала спиной по открытой двери на подставленные санки. Потом надо было повернуться на их плоскости на девяносто градусов, уложить не гнущиеся в коленях ноги носками вперёд, крепко ухватиться опущенными вниз руками за стойки, идущие к полозьям. Сумка висела на шее, две палки лежали поперёк, и петля верёвки спереди саней была накинута на одно плечо дочери. Упершись каблуками в накат, Вера будто падала вперёд под острым углом, но верёвка туго натягивалась и держала её. Скрип! Первый шажок, и дальше было много легче: сани торопливо скользили, надо было лишь вовремя поддёргивать то слева, то справа верёвку, и экипаж легко катился, слегка поскрипывая полозьями.

– Мам, ты как?

И сзади раздавалось всегда одно и то же:

– Спасибо, дочка!

Бордюры тротуара сровнялись с дорогой. Санки наткнулись на низкую ступеньку входа. Людмила по инерции чуть наклонялась вперёд от резкой остановки, отпускала руки, шевелила затекшими пальцами, хватывала холодные палки, проворачивалась на плоскости санок, чтобы ноги сползли на сторону и опустились на дорогу. Теперь надо было встать и, главное, не упасть. «Верке одной не одолеть», – каждый раз с тоской думала она. И каждый раз подоспевал то спешащий мимо прохожий, то какая-нибудь шаркающая бабка, идущая в поликлинику, и подпирала её снизу за подмышки, а когда она чуть приподнималась, сама опиралась крепкими, сильными руками на палки и распрямлялась.

Теперь пять метров до второй двери, за которой тепло и не скользко. Палка вперёд, короткий шажок за ней, а теперь так же справа – палка, шажок, плечо вперёд и снова – палка, шажок и плечо вперёд...

«Не добратья мне... Не добратья. Надо звонить Надежде, чтоб меня подменили...». Она не сразу поняла, что звонят в дверь, и откликнулась чуть с опозданием:

– Открыто! У меня всегда открыто, – добавила она тише...

В проёме двери стоял мужчина в распахнутой куртке, пыжиковой модной шапке, тренировочных брюках, заправленных в изящные сапоги на толстой подошве, и смотрел на неё...

– Вы ошиблись? – спросила она после паузы.

– Нет, – ответил он, – Я ваш сосед. Ну, в доме напротив... Окна как раз на ваш подъезд...

– И что?

– Ну... смотрю: дочка ушла в школу, а вы не выходите. Вот я решил, что на работу опоздаете...

– А если мне во вторую смену? – Людмила чуть потрясла головой в стороны.

– Нет... По вторникам, четвергам и субботам вы в первую...

– Потрясающе! И давно вы так наблюдаете?

– Год, – совершенно определённо ответил он. – Как сюда переехал... разменял квартиру.

Старую оставил супруге... Ну, бывшей... вот...

– Это ваша специальность?

– Не понял? – искренне удивился мужчина... – А!.. – вдруг догадался он и засмеялся, – Нет, нет... Я инженер... Да, толковый такой... Ну, в общем довольно главный... На Севере много лет пропадаю... Банально всё... Вернулся, а пришлось разъехаться. – Они молча смотрели друг на друга. – Там, знаете, привыкаешь замечать малейшие изменения. Там всё как пометка на чистом листе бумаги – сразу замечать надо, а то пропадёшь...

– И что? – не поняла она.

– Опоздаем, – просто, как о решённом ответил он. – Опоздаем...

– Это вы решили мне помочь? – наконец включилась она.

– Да. Этому я тоже там научился...

– Ну спасибо...

– А вы что же, в отпуске сейчас? – спросила она, когда он помогал ей устроиться на санках.

– Нет. Я просто выговорил себе условие попозже приезжать на работу, когда пробок меньше...

Теперь по вторникам, четвергам и субботам ровно в половине восьмого он молча стоял в проёме двери и ждал, когда она появится и потянется за своим пальто.

Когда подули мартовские ветры, появились чёрные проплешины на тротуарах и сани, отвратительно хрустя, отказывались двигаться по ним, верёвка от напряжения обрывалась, а идти ещё было скользко и страшно упасть, он однажды подъехал на машине и не выключал двигатель. Она очень удивилась и даже не поняла, что это за ней. С непривычки с трудом полужёла расположилась на заднем сиденье и не успела устроиться, как надо было выходить. Так безо всякого сговора и повелось. Он ничего не объяснял, не подавал советов – то протягивал руку, помогая сесть, то подхватывал спереди за подмышки и буквально выносил её из машины и ставил на землю.

Сегодня, когда она закончила все электрофорезы, парафины, согревающие компрессы и понуро сидела, опершись на стол двумя локтями, болела спина, ломило поясницу и плечи, шея ныла, и ужасно тянуло ноги, её тихонько позвали сзади:

– Людмила Дорофеевна... – Она, не убирая локтей со стола, посмотрела через плечо и увидела его...

– Ехать подано! – сказал он шутливо. – Карета у входа...

– Куда это мы? – спросила она, когда они тронулись совсем в другую сторону.

– Мы можем пообедать вместе? – полуобернулся он.

– Пообедать?

– Да. Просто пообедать. Вера сегодня задержится в школе...

– А откуда... – начала она, но он перебил её.

– Вы сами обмолвились, что теперь по четвергам Вера в театральном... – Она промолчала. – Я не выпытываю секретов. Если вы возражаете, я поверну обратно... – и она снова ничего не сказала.

– А потом...

– Что потом? – резко откликнулся он.

– Потом, если бы я... – она запнулась, – если бы я была нормальная, вы бы спросили, нельзя ли вам остаться у меня? – Он ничего не ответил. Они ехали молча всю дорогу. Когда машина остановилась, он обернулся к ней:

– Простите моё молчание. Можно я вам отвечу за столом... У нас в классе учился мальчик... Николай. Коля Демченко... Такой тихий обыкновенный отличник. Семья состоятельная. Мама в Академии наук работала, папа инженер, Алёнка сестра... Обыкновенный мальчик... У нас немецкий язык был. В середине года, это в седьмом классе, учитель умер, Ксан Ксаных. На знания наши это никак не повлияло: мы и так ни черта не знали, он на уроках нам больше про старину рассказывал. Месяца два мы балбесничали. Иногда нам уроки заменяли,

иногда русский сдваивали, иногда математику... А потом однажды директор привёл в класс нового учителя. Мы её сразу Грымзой окрестили. Лоб в морщинах, прикус неправильный, как говорят, собачий, и горб! Ну не горбище, а так – небольшой, но всё равно заметно. Если бы не это, она бы была высокой и стройной, наверное. А так... И начала она нас так драить своими перфектами и имперфектами, что просто умёглих – невозможно! Мы же ни черта не знали – ни грамматики, ни произношения, а она принесла на первый этот урок Гейне и полчаса читала нам его стихи. Содержание переводила кратко и хотела, чтобы мы влюбились в звучание немецкой речи! А мы все её ненавидели. Это как-то с войны осталось – «лающий» немецкий язык, «язык врага», ну и так далее. И по кино, и по книгам, да и по рассказам, как говорится, очевидцев... У меня и отец воевал, и брат погиб... Да у всех так. Короче говоря, не поверили мы ей и не полюбили её вовсе... Учить – учили, чтобы аттестат не испортить, а симпатии не питали...

Она сидела напротив, слушала, как, может быть, только в детстве, бывало, сказку из уст отца, и ни о чём не думала, а представляла этот класс, горбатую учительницу с томиком Гейне и все эти «их кемме мих, ду кемст дих...». Время как-то отодвинулось, и всё вокруг отодвинулось – какое-то театральное волшебство окружило её. И только долетал его голос...

– Вот. И однажды мы пошли в поход всем классом... Ну не все пошли, но это называлось «всем классом», в День Пионерской организации, 19 мая, и на два дня. Тащили с собой палатки, рюкзаки, котелки... Ну весело было... И две учительницы с нами: классная руководительница Людмила Ивановна и немка Генриетта Венедиктовна... Там-то она класс показала! И палатку поставить, и костёр развести, и сварить, и веток нарубить, и спальное место устроить... Ну так ловко, что все про свою неприязнь позабыли и стали к ней тянуться. Поход кончился, а всё переменилось. Опять стали просить её в поход сходить с нами и опять пошли, потом несколько человек собрались и попросили её куда-то поехать с ними в туристический лагерь... Короче говоря, оказалось, что она заядлая туристка, и ходит в походы давно, и звание инструктора у неё, и всё такое прочее... И Коля во все походы с ней ходил. Многие ребята отстали, повзрослели, девочками обзавелись, им с ними интереснее, а Коля всё с ней и с ней... Все вокруг уже понимали, что тут не просто любовь к туризму или немецкому языку, хотя ей под сорок было... Ну... Ну, нам по семнадцать в десятом исполнилось...

Короче говоря, как только он получил аттестат, ушёл из дома и переехал к ней. Родители в истерике, побежали в РОНО, в райком... А тут Коле исполнилось восемнадцать, и всё по закону... Они расписались. Она перешла в другую школу, он поступил в институт: головастый парень был. Мы редко встречались. Детей у них не было, а жили, говорят, душа в душу и всё в походы ходили, и летом, и зимой. Лет через восемь я её случайно встретил в другом городе, далеко – такая маленькая спорбленная старушка. Она меня узнала, а я, дурак, не сориентировался и так весело спросил, мол, вы здесь в походе... А она так тихо мне в ответ: «Коля умер...» Что, как – я потом узнал... И про неё, и про него. Она в ссылке выросла. В войну же все немцы советские шпионами стали. Отсюда и Гейне её, и навыки все туристские. Они с Колей душа в душу жили, любили друг друга без памяти... И однажды на улице её обозвали, оскорбили, он за неё заступился, его избили так... ну, проще сказать – убили. Этих бандитов нашли сразу, да что толку... Лет десять, я знаю, она ещё жива была...

Мы собирались классом, праздновали двадцать лет окончания школы. Почти все пришли... Представляете, тридцать пять парней... Ну, мужиков уже... И всё про них говорили, и, знаете, как бы это сказать, завидовали, что-ли, им... Выпили крепко. Сидели, по кругу рассказывали каждый о себе, делились прошлым, и выходило, что ни у кого, как у них, не было...

Они долго молчали. Наверное, ему нужно было время, чтобы вернуться из прошлого. Потом он посмотрел на неё пристально, опустил глаза и твёрдо сказал:

– Да. Я бы хотел, если вы разрешите, у вас остаться, Людмила Дорофеевна. И это не имеет никакого отношения к тому, о чём вы сказали.

Теперь она лежала, уставясь в потолок, и думала: что может сказать ему в ответ на его вопрос? Как её изнасиловал какой-то пьяный парень в деревне на сеновале и, когда слез с неё, вдруг протрезвел и стал извиняться: «Девка, ты прости, я не знал, что ты калека». Как она рыдала у бабки на коленях и хотела повеситься, а потом, когда поняла, что беременна, однажды подумала, что, если б не этот негодяй (да какой негодяй?), не было бы у неё Верки, да и вообще бы ничего не было?

И, может быть, не чёрт шельмует, когда Бог спит, а судьба играет, когда им обоим совсем не до них – маленьких человечков с их вечными болями, заботами и страданиями.

Любовь никуда не уходит!

Моему внуку Илюше

Эти повторяющиеся субдоминанты никак не давали кончить, забраться, наконец, на порядком соскучившееся в долгом ожидании фа и закончить! Терпеть он не мог такие каденции и финалы!

«Прямо как у Генри Миллера, – усмехнулся он, – настоящий «Сексус».

И ещё ученик этот за спиной... зануда. Как учить его, если он не слышит?.. Размазня, как эта снежная каша на тротуаре. Как я его учить буду?.. Отказаться и не брать денег за прошедшие уроки, и всё... Вот возьму его в класс, и что? Потом четыре года вот так! Отворачиваться... А жить как? Если я брал за уроки, а потом к себе в класс – так ведь каких брал! Мне бы самому приплачивать за счастье учить таких дискайплз. Да-да, дискайплз, учеников. Микеланджело тоже этим зарабатывал...

Привезут на машине, увезут, обед с собой горячий... Так ведь век другой. Я из прошлого века, а сейчас другое время, совсем другое... Чего я к нему привязался? Ну что ему, тоже, что ли, за пять километров пешком трюхать в соседний посёлок, в клуб, где пианино... и телевизор к соседям проситься посмотреть? А у него мобильник да компьютер, и чего ему ноты переписывать в областной библиотеке, потому что их купить нигде! Закажет – и пришлют по почте. А с диска сам компьютер ему партитуру распишет и напечатает ещё...

И чёрт с ним, пусть колотит! Мне тоже жить надо и дыры заткнуть. Конечно, похвалиться нечем будет... А может, и вовсе скажут, мол, постарели вы, дорогой Виктор Михалыч, ничего-то ваши ученики не показывают, конкурсы не выигрывают, медали не приносят, может, тяжело вам стало? Может... Нет уж, тут резон простой – пирог из одного изюма не бывает! Димка у меня есть, золотой парень! И Мариночка. А может, и из этого чего слепить сумею?.. Может, он, как я, настырный? Может, может... Только я всё сам... Бывало, сам услышал по приёмнику и не знал, как называется. Сам разузнал, где оно есть, пианино это, чтоб посмотреть только, не то что играть... Ну и мне повезло, что Элли Васильевну встретил... Не встретил бы – и что? А ничего, другую бы встретил, обязательно! Так мне освоить это дело захотелось, ой! И слово таких не слышал ещё: «исполнитель», «пианист»».

– Послушай, Паша! – обернулся он к сидевшему за роялем пареньку. – Погоди, погоди маленько... давай поговорим... Ты мне вот что скажи, есть у тебя... как бы это... вот чего тебе хочется так, что умереть готов, но чтоб сбьлось? Скажи! Ну вот подумай... Ты не стесняйся, это не к уроку, а так вот любопытно мне! Ну... ну... ты чего плечами пожимаешь? Не знаешь? Или нет такого? А мне, представляешь, – он сел, опустил обе руки на ноги чуть выше колен и стал скользить ими вверх – вниз, вверх – вниз, – мне так играть хотелось, что я, бывало, как услышу рояль – по радио, конечно. Я ж деревенский, у нас никто не играл, ни в одном доме инструмента не было. Понятно, по радио... Как услышу, сдавливать рёбра начинает вот тут, с боков, и дыхания не хватает... А потом ночью просыпался оттого, что будто слышу рояль, и не пойму, то ли радио, то ли я сам играю... Слышу и вижу, как пальцы по клавишам бегают...

Вот представляешь... Друг у меня был, Юрка, сосед. Тот морем бредил! Чего ему море... оно от нас за тыщу вёрст было! Где он его видел, от кого слышал о нем? В книжках, что ли, начитался... А только море – и всё! Жить не мог без моря. Хоть и нет моря, а он и форму себе смастерил, и картами комнату обклеил вместо обоев, значит, и компас на руке таскал, и всяких словечек морских полна голова, и игры у него, пока мальчишками были, – всё о море. Не казаки-разбойники, не наши-фашисты, а всё капитаны, да какие! Он нам такие истории рассказывал о морских путешествиях, крушениях, о морских эскадрах и боях... До сих пор помню. Он когда рассказывал это, делился с нами счастьем своим, мы все за ним пойти готовы

были, все! Про своё забывали – так увлекал нас! Просто как омут в реке затягивает: вот закрутит, закрутит...

Ты давай, послушай, что тебе Шуман говорит. Ты вслушайся, проникнись... Знаешь, у него тоже... Как сказать... Ну даже не мечта, а любил он женщину одну, девушку, а отец поперёк стоял, никак согласия не давал. Главное, и она его любила, только послушная очень была. Такая, знаешь, папина дочка! А я тебе так скажу: когда страсть у тебя есть – никого не слушай, только сердце... Он её так любил, с ума сходил, жить без неё не мог. И ждал, ждал год за годом. И рассказать некому, поделиться мукой, понимаешь... Вот он и писал об этом, писал... Не сочинял, а просто правду одному своему роялю рассказывал... Ты пойми, нет, так вслушайся, ну будто он друг твой и только тебе доверился! Ладно? Ведь это такая тайна!..

Вот погоди-ка, дай я сяду...

И, может быть, никогда в жизни он не играл так, как этому мальчишке. И не помнил уже, что играет, что в классе, что всякие мелкие сомнения и сделки с совестью не дают ему жить уже несколько лет, с тех пор как всё стало рушиться, да не само по себе, а под напором нахрапистых и пустых делег, которым никакого дела не было до него, до его музыки, до его жизни, и не было дела до Юрки Попова, который прошёл все моря и обогнул все материки...

– Ты знаешь, – он вдруг оборвал игру и повернулся к мальчишке, – он в Москву приезжал! Женился всё же и приехал в Москву, а жена его была пианистка, очень известная, блестящая пианистка... И они в Москве концерты давали, она его произведения тоже исполняла. И я когда учился, здесь же вот... нет, не в этом классе, в крыле напротив, – я, когда мне Шумана готовить надо было, пошёл по городу, по тем местам, где они ходили, где жили, где музыкальные вечера давали, где на Москву-реку смотрели, где в Кремль заходили... Он дневник вёл, а Клара за ним записывала. Он не здоровый человек был... По-моему, он так любил её, что в ожидании надорвался... так и кончил дни плохо, совсем плохо. Да без боли ничего родить нельзя, милый! Ну постарайся, вслушайся... Садись вот, садись, я тебе поиграю... Потому что, если не заболеешь им, если с ним не заплачешь вместе – ничего не будет. А поверишь ему, и стиснет грудь, тогда... тогда... Да вот, слушай...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.